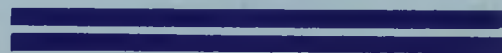


И О В Ы И
М И Р

9



1988



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1988 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Ельчик-бельчик, притча | 3 |
| РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Небеса над горами едины, стихи. Перевел с аварского Яков Козловский | 18 |
| ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ — На блаженном острове коммунизма, рассказ. Публикация и подготовка текста Н. Асмоловой. Вступительное слово Сергея Залыгина | 20 |
| СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА — Невидимый полет, стихи | 38 |
| ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Факультет ненужных вещей, роман. Продолжение. Публикация К. Ф. Домбровской-Турумовой | 40 |
| ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ — Никогда не расстаться, стихи | 98 |
| ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ — На маяк, роман. Предисловие Е. Гениевой. Перевела с английского Е. Суриц | 100 |

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| | |
|--|-----|
| СЕРГЕЙ МАРКОВ — Баллада о столетье, стихи. Публикация Г. П. Марковой. Вступительное слово Е. Храмова | 135 |
|--|-----|

ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|-----|
| Е. СЕРГЕЕВ — Несколько застарелых вопросов | 142 |
| АЛЕКСАНДР ГАНГУС — На руинах позитивной эстетики. Из истории одного термина | 147 |
| АЛЕСЬ АДАМОВИЧ — «Честное слово, больше не взорвется», или Мнение неспециалиста.— Отзывы специалистов | 164 |

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

| | |
|--|-----|
| БОРИС МАЗУРИН — Рассказ в раздумья об истории одной толстовской коммуны «Жизнь в труд». Подготовка текста А. Б. Рогинского | 180 |
|--|-----|

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

★

НА БЛАЖЕННОМ ОСТРОВЕ КОММУНИЗМА

Рассказ

Трудно говорить о своих ушедших товарищах, о людях близких, близких не только лично тебе, но и миллионам других людей.

Именно поэтому и трудно, что их знают все, а знание всех — это факт значительный. Он тем более значителен, что рядом с тобой — живые свидетели той, ушедшей жизни, ее поклонники, ее и ценители и хулители, прижизненные и послежизненные льстецы.

Многих авторов читаю я сейчас, чьи статьи, статьи полемические, заметки и воспоминания о людях, ушедших давно и недавно, еще ни разу не устроили меня, если этого человека, личность эту я тоже знал, и знал близко, а может быть, душевно близко. Как же быть, как поступать в таких вот случаях, когда надо, когда должно сказать о человеке, но теряешься — как это сделать?

Я думаю, прежде всего другого нужно дать посмертное слово ему самому. Опубликовать его письма, его наброски, связанные с ним документы и материалы. Владимир Тендряков оставил после себя большое литературное наследие, оно, конечно, будет издано, уже издается, а «Новому миру» нельзя оказаться от этого дела в стороне, никак нельзя уже только по той одной причине, что Тендряков многие годы был автором нашего журнала. Таких причин наберется и еще немало, и, продолжая публикацию его рассказов¹, мы не только отдаем долг ему лично, но и общественности нашей, которая должна еще и еще раз убедиться, что во все времена находились писатели, которые умели называть вещи только своими именами, а иначе — не умели. Слово которых, может быть, и будет оттеснено когда-нибудь другим, более изысканным и более умным, более всеведущим словом, но и тогда оно не потеряет значения первооткрытия или хотя бы останется честной, безоглядной попыткой к первооткрытию. Это слово еще и еще поразит нас своей бескомпромиссностью, отсутствием всякой боязни с кем-то не поладить, заметить чью-то лысину, чью-то хромоту, чье-то косноязычие, полным отсутствием желания скрыть свою собственную мысль — пусть даже откровенно субъективную, неоправданную, которую история не подтвердит, но все равно остановится на ней как на мысли первой в своем роде, дерзкой и характерной для ее автора.

Так, кажется мне, должно быть между нами, живыми, до тех пор, пока характер умершего, его облик, его стиль остаются для нас интересными, нас захватывают и волнуют.

Первое слово — ему первому, а потом уже и воспоминаниям о нем.

Сергей ЗАЛЫГИН.

¹ См. «Новый мир», 1986, № 3.

Слепая Фемида изощренно пошутила, предоставив Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом.

Сталина я видел всего лишь раз в жизни — 7 ноября 1945 года, проходя среди многих и многих людских тысяч по Красной площади мимо Мавзолея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдавлен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем — и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Разумеется, и я обезумевше вопил вместе со всеми...

Хрущева же я видел и слышал много раз, издали и достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был допущен до рукопожатия.

Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме. Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом коммунизме, попасть в который никто из здравомыслящих граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.

1

15 июля 1960 года. Мне позвонили из правления Союза писателей: — Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное дело.

А так как Союз писателей, надо отдать ему должное, делами меня не обременял, тем более важными, то я послушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили конверт с праздничного вида билетом на ложенной бумаге, заставили расписаться.

В билете значилось, что товарищ Тенков В. Ф. с супругой приглашаются на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры, просьба прибыть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадцатом километре, к совхозу «Семеновскому»...

— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.

Я пожелал остаться независимым:

— У меня своя машина.

У меня был выдавший виды «Москвич», который я мыл в году два по два — по вдохновению или ради какого-нибудь исключительно случая вроде техосмотра. Встреча с правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и я мысленно дал себе слово помыть машину.

Но не сдержал его: в тот день домой вернулся ночью, а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь, где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб если и опоздать, то не безобразно.

Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся через Москву к Каширскому шоссе.

Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь... У меня вечные nelaды со столь мудрыми остережениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный, жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кляня норовистую машину, правительственную затею, самого себя и ни в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили, отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и монументальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка тех лет, — все они, разумеется, спешили туда, куда спешил и я.

Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки наспех вытерты тряпкой — вперед! Я выжимал из своего неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с дорожными знаками, выскаки-

вал на левую сторону, держа наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если только милиция остановит, сразу под нос обезоруживающий документ: глядите, спешу не к теще в гости, вам надлежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое — у железнодорожного шлагбаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок «Чайке», — ко мне подошел представитель милиции с погонями подполковника и скорбно-осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал:

— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.

И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать.

Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок — ни черных лимузинов, ни гордых «Чаек» с золочеными хвостами... И я понял, что переусердствовал — проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета. Пришлось разворачиваться...

Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе.

Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску.

Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и «Чаек» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один пронизательно заметил другому:

— Гляди — частник приехал!

Я показал им приготовленный билет, они мне с подчеркнутой вежливостью отковыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятаку, и к нам двинулся молодой человек.

Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней, темный костюм на нем, облегающий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захарченко, и лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене:

— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.

И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича» на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой:

— А ты поезжай! Поезжай дальше.

Вот те раз!..

Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив.

Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше.

Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатали по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.

Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепительно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви — не зевай!

«ЗИЛы» и «Чайки», «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие черные лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начищенным никелем. Возле каждой машины развалился на солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, ленивые. Даже на расстоянии чувствую их презрение к себе — странный тип, забравшийся в столь ослепительное общество на потасканном и до безобразия неопрятном «москвичишке».

Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал, растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Нет, не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплошные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-поле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого на то место, какого он был достоин, — на самых задворках великолепного становища.

Я закрыл машину, переглянулся с женой:

— Пошли?

— Пошли.

И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистательных рядов, под презрительными взглядами вельможной шоферни. Набравшее лютую силу солнце, взгляды, светлый костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал кипеть, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное небо, сытых олухов на обочине, затею со встречей у черта на куличках. И пот стекал по спине под светлым пиджаком, и хотелось пить...

Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мостиком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется пить!

Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил — эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе, застыл в недоуменной стойке, спросил тенорком:

— Вам куда?

— Как — куда? — удивился я. — Сюда! — кивнул на ворота.

Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее я был уже не способен. Однако...

— Пожалуйста! — Соломенная шляпа с готовностью нырнула под мост.

До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов, когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.

— Послушай, а билет?..

Билет остался в машине у ветрового стекла.

Военные откозыряли, участливо выслушали меня, пожали офицерскими погонами:

— Не можем.

— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать туда и обратно по такой жарнице — сдохнем.

— Верим. Сочувствуем. Но не можем.

Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их понимал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусочком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое преступление, какое только для них возможно, значит признать ненужность и бессмысленность своего

существования. И я стоял перед военными запаленно жалкий, потный, убитый, решал — не плюнуть ли мне на всю эту затею, не совершить ли рейд по солнцепеку, не развернуть ли своего неумытого носом к дому... Право же, военные были славные ребята — сочувствовали.

Вдруг один из славных ребят взгляделся в сторону, махнул рукой, властно крикнул:

— А ну сюда!

Подкатила странная машина, пожалуй, даже более странная, чем мой «Москвич», — дряхлая «Победа» и тоже давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло носатый человек наглядно иудейского вида.

— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины, привезешь их обратно. Ясно?!

— У меня кардан...

— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно! Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.

И мы, преисполненные благодарности, влезли в душную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:

— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске едзу... До гаража не доберусь...

Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо выстроившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.

Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его поднимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно исчезла.

И снова мы, солнцем палимые, — мимо, мимо... Как хочется пить! Пригласительным билетом прикрываю накаленную макушку. Я уже никого не кляню, не ругаюсь, киплю в себе, боюсь взорваться.

Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к пюстику с перильцами — уже теперь близко!

Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соломенной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:

— Вам куда?

Меня прорвало:

— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим! Зачем тебе только деньги платят!

Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщинистое лицо смятенно вытянулось под шляпой.

— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалобной беззащитностью: — Ведь я же на работе.

И нырнул под мост.

Я сегодня второй раз почувствовал угрызение совести: в самом деле, виноват ли он, если приходится зарабатывать хлеб такой странной службой — под мостом? А потом я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко его обложить по-барски...

Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизились к распахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным билетом — сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и мы перешагиваем заповедную черту.

На нас сразу ложится благодатная тень. И шум хвои над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимающий воздух. Иной мир.

Я хочу пить, я умираю от жажды...

Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же, словно по щучьему велению, увидел перед собой бегущий среди деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножками, — стол, под столом из воды торчат горлышки бутылок — боржом, эссендуки, ситро, на выбор. За столом дородная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко

накрахмаленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливает воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.

Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаждущего, готовый с привычной воинственностью отшивать тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже тянет мне наполненный фужер, улыбается.

Вода холодная, впитавшая родниковую свежестъ рвчья.

— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.

— Пожалуйста.

И новый запотевший фужер, и новая улыбка.

— Спасибо...

— Вам еще?

— Хва-атит.

Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с насмешливости, но вовсе не обидными улыбками — то-то простота.

И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! Здесь все бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая влага, доброта румяной девицы в кокошнике и журчание рвчья.

2

В глубоком детстве, еще до школы, мы слышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»

Горизонт, как известно, — кажущаяся, но не существующая линия, которая неизменно удаляется при приближении. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.

А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?

Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосемейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта, а потому и вождельный коммунизм нам представлялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избытком хватает на всех — ешь не хочу!

Карл Маркс высмеивал такое потребительское понимание, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. Последователи ограничивались лишь заверениями о пришествии: «На горизонте!»

Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма зримому признаку: существуют деньги в обиходе — нет его, коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены — пришествие совершилось.

С меня не взяли денег за минеральную воду, не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая не нужная для меня вещь.

3

— Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...

Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоиться, произнес эту фразу.

Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько липко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслаждение окунуться сейчас, но...

— Кто же знал, что на встречу с правительством следует захватывать с собой плавки.

— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклончиком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите в стороне две бу-

дочки — купальни, мужская и женская... И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.

Внимание к личности столь велико, что ничего не остается как покориться — для собственного же блага и удовольствия.

Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раздавали мокрые плавки. Впрочем, тут таки произошла досадная неувязочка — плавков на всех желающих, однако, не хватило, мне достались трусы, только что кем-то использованные, но зато добросовестно выжатые.

Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега натуральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный камень. Правда, вокруг широкого пруда — асфальтированные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз что-то не видно...

В прошлую встречу деятелей культуры и правительства на берегах водоемов через каждые десять — пятнадцать шагов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне, как он по простоте душевной подсел к одному и без задней мысли полюбопытствовал:

— Как клюет?

Рыбак молчал и взирал на неподвижный поплавок с каменным лицом.

— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?

Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло: рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, должно быть, ему дана строгая инструкция — в разговоры не вступать.

Сейчас берега свободны, инструкторованных рыбаков нет, а гости не интересуются удочками.

У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые лица, я словно попал в некий филиал Московского отделения Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штанины муравья и, морщась, жалуется:

— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.

— Наберитесь терпения — он правительственный, — осмеливаюсь посоветовать я.

Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секретарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.

Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша облачается испулавшийся Леонид Леонов. А в воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!

Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в ответ с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.

На отдалении сидит налитой розовым соком человек — при галстукке, в белоснежной сорочке, отутюженных брюках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не собирается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скромным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Аджубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно познакомились, даже чокались за столом за здоровьем друг друга, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнится мне, ждет, что я непременно уловлю — уж постараюсь! — его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и привечать. И я, нарядившись во влажные правительственные трусы, лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид, что в свою очередь не замечаю его.

И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь, с другими оставливаюсь поболтать.

Все предупредительно вежливы друг с другом, на лицах разлита тихая пасхальная благодать, каждый подавлен кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос воскрес» да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобызает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Кочетовым.

Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой блаженной невесомости, когда от умиротворения «в зубу дыханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется целый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка: «А в этом коммунизме того... скушновато, право».

Но еще не появилось правительство. Оно-то должно внести какое-то разнообразие.

4

Это была уже вторая встреча с правительством. На первую я не удостоился чести быть приглашенным, а жаль — она потрясла очевидцев.

Хрущев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил за воротник и... покотил «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции: «Украина — это вам не жук на палочке!» И острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов.

Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шоферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на ходе торжества.

Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идеологии в литературе — «лакировочки не такие уж плохие ребята... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка пакостит!» — под восторженные выкрики верноподанных литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич! свой орган завели — «Литературная Москва»!

Альманах «Литературная Москва» был основан инициативной группой писателей, формально никому не подчинялся, фактически был полностью подчинен, как и все печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор, на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии...

Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор правоверных стихов, в мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжелательности к правительству, — стояла перед разъяренным багроволицым главой могущественного в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущев обрывал ее:

— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного романа «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущев свирепо неистовствовал, все съезжились и замерли, а в это время набежали тучи, загремел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгрывавшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам.

Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули бравые парни в отутюженных костюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но парни стоически боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянувшись и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, поеживались от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент, — атланты оберегали только правительство. И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным лицом держала мужа за рукав и нашептывала. И муж вял, обиженно засуетился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный среди гостей Самуэль Маршак с бледным, вытянутым лицом время от времени сдавленно изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой шляпой.

Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись приблизиться — заклемена, прокажена. Лишь Валентин Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет, не опека опальной Алигер их настораживала, а гриб... Овечкин случайно нашел под правительственным деревом крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Почему гриб? Не замаскированная ли это бомба?.. Атланты проводили их до выхода.

Дождь прошел, светило солнце.

Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже в его ближайших кругах.

Да, прошедшая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появление Хрущева со жгучим интересом: как-то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хрущева всего можно ждать...

5

Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в своей жизни остроуту: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема».

Революционные скачки Маркс положил в основу своей теории, мы применили их на практике. Хрущев всей душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать сытую Америку по мясу и молоку! Два! — оставить ее далеко позади в неприглядной реальности, самим оказаться в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть не преодолела — свалились. Конфуз? Да нет, боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...

Мне рассказывали: в Мурманской области — территория чуть меньше Англии и больше Болгарии — в редких закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!

— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич,— осмелились возразить ему.

— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политический резонанс!

А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора.

Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли, прозорливые открытия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, массовых озарений не существует в природе. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время, и немало, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпионы человеческого мышления. Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.

Но государственный политический деятель занимается-то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами, требующими, как правило, немедленного решения. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть понятым. А потому политический руководитель вынужден прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать некой усредненной заурядности в человеческом обществе. Как это ни обидно, но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью,— скорей исключение, а не нормальное явление.

Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью.

Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва

подделывались под обывательское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны.

Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует... Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами, немецкие войска в глубине России. Именно в это время Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручительству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника?.. Да нет, они торгуются: кому будут принадлежать прибалтийские государства и Восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как убить медведя, не представляется им существенным. «Помимо вопроса о договоре, — небрежно бросает Черчилль, — Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром 22 мая я имел с ним официальную беседу». И все! Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведение смехотворно глупейшее, особенно на фоне последующих трагических событий — немцы, чью шкуру столь страстно делили, с новой силой ударили по России, захватили шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвинулись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведомленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иронии повествует: делили, делали дело, — то есть пребывает в прежней глупости.

Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда пронизательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.

Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, упоенно глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он принципиально ничем не отличался от других видных политиков, страдал их общей бедой. И конечно же, его вседержавная самонадеянность нравственно калечила общество — воспитывала лжецов, льстецов, жестоких, беспардонных прохвостов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих карьеру на чиновном разбое.

Но вот что странно — бывают же такие поразительные парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хрущева и помогла совершить смелый прогрессивный переворот в стране. Хитроумный политик сэра Уинстон Черчилль не принес столько пользы Англии, сколько принес Никита Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим выступлением на XX съезде партии!..

Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем появились сами гостеприимные хозяева...

6

Члены правительства без торжества, без предупреждения, вдруг оказались на асфальтовой дорожке под соснами. Улыбающийся добродушный Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубашке, стянутой у шеи цветным шнурком, прозванной в обиходе «антисемиткой». Трясущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе. Микоян с навешенным носом над траурными, не тронутыми сединой усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Молотова и Кагановича,

высоких участников прошлой встречи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет, не упрягал за колючую проволоку, не расстрелял в подвалах, как это делал Сталин в компании тех же молодых-кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами, живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел Шепилов — «и примкнувший к ним». Презрительная оговорочка вскрывала политическую худородность данной фигуры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких, как я. Этот худородный командовал культурой страны — указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный мотив: «Куда, куда вы удалились?..»

Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и литературы, разумеется не все, а те, кто считал себя достаточно заметными, способными претендовать на близость, оттирая друг друга, со счастливыми улыбками на потных лицах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел, топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почтительности и семянце выплясывал все тот же Леонид Соболев, получивший не только гараж — как убоги были их семейные мечты! — но и специально для него созданный Союз писателей Российской Федерации. То с одной стороны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный «дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить о себе.

По правую руку Хрущева прорвался украинский композитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лоснящуюся физиономию, закатил глаза и залился сладкоголосом:

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю...

Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустойчивым ба-
ритончиком:

Чому я не сокил,
Чому не летаю...

А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теснились и улыбались, улыбались... Все это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. Повстречай каждого из них на улице или в коридоре учреждения, представить невозможно, что столь барственная особа способна на такие мелкие телодвижения.

Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных границах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, пожал руку, приятно! Но завтра все окажутся за пределами этого счастливого острова, в океане, где качает и опрокидывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает наверх, надо быть сильным и сноровистым, чтоб удержаться на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к всесильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, оттирание, щеки, раздвинутые в улыбке, — смотр рыцарей удачи!

Я стоял в стороне, всматривался в умильную карусель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу поручиться! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майбороде: «Чому я не сокил, чому не летаю...» — только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, было отдыхающим, право же, выражало удовольствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сейчас я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня, — подозри-

тельно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее...

Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал, что плотная стена угодников и кусок пространства в десять шагов — надежная защита. Я не опустил глаза, продолжал с удивлением вглядываться в преобразенное лицо Хрущева.

Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секунду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то.

Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпекает, вид отдыхающего человека — не верь глазам своим: он напряжен внутри, настороженно-собран, полон подозрительности. И я невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».

Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю, не заметила этой перемены. Правда, я тут же сказал ей, она на минуту заинтересовалась и... сразу же забыла. Не столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то значение.

А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова наткнулись на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого Хрущева, ждал — встречу с ним взглядом, хотел, чтоб все повторилось, убедило меня: мне не пригрелось.

Но Хрущев уже не замечал меня больше.

7

Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма — и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился возле него, как мухи вокруг банки с вареньем, — принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.

Интеллигенция... Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека, — к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы! К интеллигенции всегда было настороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привычным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие деятельность государственных руководителей.

Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. «...влияние интеллигенции, — писал он в 1907 году, — непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей свое междуклассовое положение в принцип внеклассовых партий и внеклассовой политики, — влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».

Став во главе государства, он уже с откровенностью бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не отрицаем, потому что вы являлись единственным культурным элементом». То есть была интеллигенция прислужницей — и оставайся ею. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников.

Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства: низший по службе безропотно, безоглядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще более высшему, и так до конца, до венчающей вершины, на которой восседала никому не подчиненная, всех подчиняющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую.

И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты пахешь поле, сам пахешь, а не руководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, создаешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Только переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, научные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возможность превратиться в диктатора. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недостаточно покорным, проявишь строптивость, то почему бы к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях со строгим режимом, избиений, пыток, расстрела, наконец.

Сталин превратил интеллигенцию в безропотную прислужницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно — правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до «философского» обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию.

И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели, — сталинские чиновники, Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные и воспитанные янусы с двойными лицами диктаторов и лакеев.

Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что государство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою мощь, блюсти железную дисциплину подчиненности, сохранять абсолютизм власти... Генеральная линия партии в годы сталинизма была безупречно правильной, но...

Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато опасностями это воспитание. На его глазах хватали виднейших государственных деятелей и ставили к стенке... Добро бы просто к стенке, а то рвали ногти, ломали кости, отбивали почки, грубо измывались, подлеише унижали, прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспитан, но благодарности к воспитателю не испытывал.

Генеральная линия партии во время Сталина была безупречно правильной, только сам Сталин не прав — претила жестокость, мучило от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять — пусть останется все как было! — но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно? Или он никакой не диктатор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и развенчивать, или был диктатором — осуждай, но уже вместе с тем путем, на какой толкала его несправедная власть. Одно с другим тесно связано...

Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младенчески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ! Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть отважной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Сталина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...

Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по улицам наших городов, пыточных дел мастера усердствовали бы в застенках, и наверняка продолжалась бы агрессивно-остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосуществовании не могло быть и речи. Не исключено, над планетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человечество вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-таки велика роль случая в истории, той пресловутой «бабочки Брэдли», меняющей облик будущего.

Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех континентов должны вспоминать о нем с благодарностью!

Но если сам Хрущев простодушно не считался с элементарной логикой, то другие-то этого не могли себе позволить. Поведение Сталина осуждено — прекрасно! Однако сказал «господи», скажи и «помилуй»...

Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений. На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому литераторов собралось столько беспокойных читателей, что пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небывалое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, приходится прибегать к вооруженному подавлению, срочно менять правительство, ставленное в свое время Сталиным.

В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ругань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интеллигент, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И вот мимолетный взгляд из-под маски гостеприимного хозяина...

Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные уши.

8

Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четверо — художник Орест Верейский и наши жены, — углубляемся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не только обихожанный лес, наверняка где-то стоит и дача правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию: «Разведаем. Делать-то все равно нечего».

Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная тишина, хочется говорить вполголоса.

Из боковой аллейки появился прохожий, идет нам навстречу. И мы замолчали, невольно испытывая смущение — идущий навстречу человек нам хорошо знаком, зато нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узнали, — противоестественно, но естественно ли здороваться, не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельможный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента, раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтожному поводу. Встречный приближается и здоровается первым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.

В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздрагиваем и не переглядываемся недоуменно. Маниакальная мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову. Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем навстречу выстрелам, провожаемые стучом невспугнутого дятла.

Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на траве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья, другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безделушками — призы за удачную стрельбу. Возле столов — Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем незнакомые.

На расстоянии сотни шагов почти незаметные, поросшие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелочки одна за другой через равные промежутки времени. Они разлетаются от выстрелов высокого, холено-полного молодого человека.

Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней близостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора шага, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша, попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.

Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на стол:

— А ну-ка!

И Мжаванадзе с готовностью хватается со стола ружье.

В синее небо летит тарелочка. Бац! — вдребезги! Новая тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжаванадзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную вежливость, осторожно положила ружье на прежнее место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку, густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.

Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.

А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются замечания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплются сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — интересно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в адрес главы государства? Узнаю среди зрителей тяжеловесную Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семейство Хрущева. Эти могут себе позволить.

В расшитой «антисемиточке», расставив короткие ноги, розовые уши настороженно торчат — Хрущев наизготовке с ружьем.

Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка падает к земле. Вторая... Бац — мимо!.. Бац! Бац! — тарелочки целы... Оцепенел с прижатым к паху позолоченным призом Мжаванадзе.

Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он положил ружье и сел на стул...

Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фигуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом сноровку покажешь».

А в стороне безжалостно посмеиваются:

— Настрелял уток — не унести.

И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижимает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смотреть. Вот уж кому не позавидуешь...

И вольные шуточки со стороны семейства.

Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее, становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку сурово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти угрожающе.

Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе вышел из столбняка, облегченно распрямился, с преданной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.

Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены, тяжелым корпусом вперед, голова склонена — бычок посреди дороги, объезжай кругом!

Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка падает целой на траву.

Хрущев победно кладет ружье.

Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки. Можно ли за несколько минут сделать так, чтоб они сами по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с выстрелами. Но если это и ловкий лакейский фокус, то в него всей душой поверил и сам Хрущев.

Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, соперничая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радостным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воистину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя может лишь человек, который действительно переполнен торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — распирает!

Родственники со стороны продолжали острить, ничуть не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признаться, стоял озадаченный.

Да и теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти что чудо. И единственное объяснение, какое могу дать, — недюжинность характера Хрущева. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Сталиным — доказательство тому. Уже мертвый и развенчанный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его вытаскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий, стоящих по городам и весям страны, географическими названиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев выкинул Сталина из Мавзолея, выкорчевал по стране его памятники, стер его имя с географических карт, не испугался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отказать этому человеку в характере!

Сейчас он с детской непосредственностью радовался одержанной победе — разбил-таки тарелочки, доказал свою сноровку! Ай да я!

К нему сразу же бросились с фарфоровым призом. Он с серьезной важностью, не без величия, как и подобает государственному мужу, принял его и... бросил взгляд на приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе весь лучился — слава те, господи, пронесло! — умильно заглядывал в глаза Хрущеву...

И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу, который обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту: ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позолоты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежащий ему приз.

И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул:

— Сменяемся, Никита Сергеевич.

Нет, я ничего не придумываю ради красного словца, все было именно так, как я рассказываю, прошу верить. Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на котором оказалось больше позолоты. И оба были явно довольны этим обменом.

Тут по всему лесу загремело радио:

— Дорогие гости! Просим вас к столу! Дорогие гости! Просим вас!..

И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.

Я там был, мед-пиво пил...

Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохранившийся документ — карточку меню.

Обед:

Икра зернистая, расстеган
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве

Окрошка мясная
Бульон с пирожком

Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях.

Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты

с. Семеновское, 17 июля 1960 года.

Стеснительно не упомянуты напитки.

Знатоки утверждают, что в прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее.

Документальная реплика



Н. С. Хрущев и И. В. Сталин. Январь 1936 года. Мог ли он думать?

Март 1974 г.

Публикация и подготовка текста Н. АСМОЛОВОЙ.